



КАК ОВОЩИ КОРОЛЯ ВЫБИРАЛИ

Это случилось на одном огороде, который крестьянин недавно обнёс красивым забором. Крестьянин этот любил прихвастнуть:

- Не огород, а просто чудо! Как вкусно пахнет, как ладно в нём кузнечики играют... А овощи как буйно растут! Одно слово, райское королевство, только короля тут не хватает...

Овощи слушали, слушали болтовню крестьянина и наконец решили избрать себе короля.

- У нас есть всё, что нужно для государства: свежеевыкрашенная граница, замечательный оркестр кузнечиков, множество граждан самых различных профессий. Нет только порядка, который бы появился, выбери мы себе короля, - сказала тщеславная тыква, которая давно мечтала о власти.

- Правильно, - согласилась цветная капуста. – Ведь в наш огород каждый день пробирается кошка, а ёж живёт, как у себя дома. Будь у нас король, - ни один чужестранец не совал бы нос в наше государство.

- Что нужен король, совершенно ясно, - изрёк подсолнух. – Но кто бы годился на такую должность?

- Только не ты, хотя и стоишь с высоко задранной головой, - едко сказала редька.

- Конечно, - согласилась тыква. – Король должен быть толст. Это придаёт веса и вызывает у всех уважение.

- При чём здесь тонкость или толщина? – откликнулась капуста. – У короля должна быть голова на плечах.

- Чепуха, - возразила редька. – Голову можно и потерять. Ведь так случилось с твоей родственницей краснокачанной капустой, когда ещё не было нового забора и в огород ворвалась корова. Король должен глубоко запустить корни в землю своего государства. Он должен быть корнеплодом!

- Нет, нет, - отрезала тыква, пожелтев от злости, и приготовилась сражаться за престол до победного конца. – Королю надо видеть, что происходит в его государстве, поэтому он должен жить наверху грядки, а не скрываться в земле подобно червяку или кроту.

- Вот это святая правда, - вставила слово цветная капуста.

Ей поддакивали огурец, помидор, фасоль.

- А мы – против! – разразились криком репа, лук, картофель и красная свёкла.

Овощи всё ещё громко спорили и шумели, когда на высокий цветок подсолнуха опустилась большая, яркая бабочка. Она некоторое время прислушивалась к спору, а затем сказала:

- Милые овощи, мне смешно слушать ваш спор о выборах короля. Какая разница, врос король корнями в землю, или он наверху грядки? Ведь не это важно. Важно, чтобы король дал всем то, без чего никто не может жить. Ни один овощ, ни одна бабочка не смогли бы выжить без самого могущественного властелина в мире – Солнца!

Бабочка замолчала и поправила крылья. Овощи тоже молчали.

- Да, без солнца мы все наверняка бы вымерли, - наконец промолвила морковь. И тогда весь огород одобрительно зашелестел:

- Солнце! Солнце! Солнце для нас самый подходящий король! Как мы об этом раньше не подумали?!

- Потому что каждый думал только о себе, - ответила бабочка.

Овощи, пристыженные и смущённые, молчали.

КОШКИНА РОДОСЛОВНАЯ

Кошка – любимое домашнее животное, обитающее рядом с человеком много веков. А как она оказалась в человеческом жилище? Кто её предки?

Учёные считают, что предка нашей домашней кошки нужно искать в жарких полупустынях севера Африки. Это скорее всего дикая нубийская кошка. Она и сейчас, попав к человеку, легко поддаётся приручению в отличие от её диких европейских сородичей. Исследователи обнаружили разные подвиды нубийской кошки на западном берегу Нила, в Месопотамии, Аравии, на высокогорных плато Эфиопии. Это объяснило происхождение короткошерстных пород кошек. С происхождением длинношерстных гораздо больше неясностей – скорее всего это смешение нескольких видов.

Настенные росписи в гробнице Саккара в Мемфисе (2500 год до нашей эры) изображают кошку, очень похожую на нубийскую. Ошейник на ней свидетельствует о том, что животное уже было во власти человека. Но в те времена при дворах правителей, чтобы показать простому люду власть и силу, на привязи жили и тигры, и львы, и гепарды. Вероятнее всего, что полезное животное быстро завоевало популярность среди земледельцев, охраняя их запасы от мышей и крыс.

Так или иначе, Древний Египет – единственная признанная наукой колыбель домашней кошки. Кошка там была почитаемым животным. Древние египтяне считали, что в животных воплощаются боги, и люди после смерти принимают облик тех или иных зверей. Греческий историк Геродот в V веке до нашей эры писал, что в Египте больше богов, чем людей... Была и богиня с головой кошки – Баст.

Культ кошки в Египте длился столетиями. При пожаре египтяне выносили из огня именно кошку, а в случае её гибели стриглись наголо в знак траура. Историк Диодор Сицилийский писал в I веке до нашей эры о том, как персидский царь Камбиз удачно воспользовался любовью египтян к кошкам. При осаде одного из городов велел своим воинам посадить на щиты именно этих четвероногих. Город сдался без боя: защитники боялись поранить священное животное.

Прошли века, прежде чем кошка появилась в домах европейцев. Несмотря на строгий запрет вывозить священных животных из Египта, их, очевидно вывезли на Крит, а ещё через 600 лет они «перепрыгнули» через Средиземное море и появились в Элладе и на Апеннинском полуострове. Об этом свидетельствуют их изображения на вазах.

За кошкой закрепилось имя «кэтус», пришедшее, видимо, от берберов. А со временем появилось английское «cat», немецкое «katze», русское – «кот».

Мирная жизнь для кошек в Европе закончилась в 1484 году, когда папа Иннокентий VIII издал буллу, в которой проклял этих животных как «ведьмино отродье». Кошек стали преследовать вместе с их хозяевами. Их уничтожали тысячами. Светлые умы пытались объяснить, что кошки приносят пользу, отлавливая грызунов, но к ним не прислушивались... Европа поплатилась за гибель миллионов кошек эпидемиями страшной болезни – чумы.

Сегодня кошка – самое любимое после собаки домашнее животное. У каждой из них свои повадки, свой характер, они своенравны и горды. Но человек поселил их рядом с собой на долгие годы.

О ЛЕСОРУБЕ, КОТОРОМУ ДО ВСЕГО БЫЛО ДЕЛО

В старину в одном городе люди потеряли улыбку.

Уверяю вас, что это очень страшно, гораздо страшнее, чем кажется на первый взгляд. Никто не знал, откуда взялась эта загадочная болезнь, и местные светила науки изо дня в день изучали причины её возникновения.

— Очевидно, это что-то желудочное, — говорил доктор Касторка.

— Нет, нет. Скорее это явление простудного характера, — возражал ему доктор Стрептоцид.

— Чепуха! — категорически заявлял профессор Пенициллин. (Злые языки утверждали, что именно это магическое слово принесло ему профессорство.)

Между тем болезнь с каждым днём принимала всё более угрожающий характер. Люди забыли о весне, о солнце, о друзьях, и на улицах вместо приветливых и дружелюбных слов только и слышалось:

— Не твоё дело! Не суй свой нос! Иди своей дорогой!

И как раз в это трудное время с гор спустился молодой Лесоруб. Подходя к городу, он увидел человека, который барахтался в реке, силясь выбраться на берег.

— Тонешь? — спросил Лесоруб, собираясь броситься на помощь.

— Не твоё дело, — мрачно ответил утопающий и ушёл под воду.

Лесоруб больше не стал тратить время на разговоры, а бросился в реку и вытащил человека на берег.

— Ты что же это сопротивляешься, когда тебя спасать хотят? Смотри, чудак, так и утонуть недолго.

— Да кто ж тебя знал, что ты всерьёз спасать надумал? У нас это не принято.

Пожал плечами Лесоруб и отправился в город.

На одной из улиц дорогу ему преградила огромная толпа народа. В центре толпы маленький старичок трудился над опрокинутой телегой и никак не мог поставить её на колёса.

— Давай-ка, дед, вместе! — сказал Лесоруб. — Одному-то тебе не под силу.

— Не твоё дело, — буркнул старик, не поднимая головы.

— Ишь ты, гордый какой, — засмеялся Лесоруб. — У меня-то сил побольше твоего. А вдвоём не справимся — люди подсобят: вон их сколько собралось тебе на подмогу.

При этих словах толпа начала расходиться. Задним уйти было легко, а передним — труднее, и они волей-неволей взялись помогать старику.

Вскоре в городе только и разговоров было, что о молодом Лесорубе. Говорили, что он во всё вмешивается, о каждом хлопочет, что ему до всего дело. Сначала к этому отнеслись с улыбкой (это была первая улыбка, появившаяся в городе за время эпидемии), а потом многие захотели составить Лесорубу компанию, потому что он был весёлый парень и делал интересное дело.

Однажды утром профессор Пенициллин выглянул в окно, и слово «чепуха» застряло у него в горле: на улице он увидел сотни улыбающихся лиц. Однако борьба с эпидемией была в плане работы больницы на весь следующий год, поэтому профессор решил закрыть глаза на факты. Он уже открыл рот, чтобы сказать: «Не моё дело», — но его перебил Лесоруб, который как раз в это время входил в Зал заседаний:

— Пожалуйста, профессор, не произносите этой фразы, ведь она и есть причина заболевания, которую вы так долго искали.

Так кончилась эпидемия. Лишь только у жителей города исчезла из употребления фраза «Не твоё дело», к ним тотчас вернулась улыбка, они стали весёлыми и счастливыми. А Лесоруб ушёл в горы — у него там было много работы.

О МОСКВЕ

Москва – древний город. Существует легенда о том, что земли, где сейчас центр Москвы, принадлежали гордому боярину. Боярин этот поссорился с князем Юрием Долгоруким. Князь отобрал у непокорного боярина земли и велел построить на высоком берегу реки крепость и назвать её так же как и река – Москва. В старинной летописи есть такая запись: «Князь великий взошёл на гору и обозрел с неё очами по обе стороны Москвы-реки и за Неглинною и возлюбил сёла оные и повелел на месте том вскоре соделати мал деревян град и прозвал его званием реки тоя Москва град».

В летописях Москва впервые упоминается в 1147 году. Там сказано, что князь Юрий Долгорукий пригласил для переговоров в Москву – тогда маленькое поселение на границе своего княжества - другого русского князя Святослава Черниговского. Вот с этой встречи и ведётся отсчёт истории города.

Древний город весь помещался за стенами крепости – Кремля. Сначала Кремль был деревянный, потом каменный, а в XV веке его стены сложили из красного кирпича. Современный город шагнул далеко -- на много десятков километров – за пределы Кремля.

Нынешний Кремль – это историческая территория. По его углам располагаются башни. Самая знаменитая из башен – Спасская, на ней находятся часы, которые показывают точное московское время. За кремлёвской стеной множество соборов, храмов, музеев и памятников. Рядом с Кремлём находится Красная площадь. Вдоль одной из стен протянулся Александровский сад.

Неторопливая Москва –река течёт по городу больше семидесяти километров. На ней много водохранилищ и более ста мостов.

В старой части города много старинных улиц и переулков. Об их названиях можно поэму писать: есть переулки Медовый и Лебяжий, есть сердитый – Палочный, есть – Хрустальный и Кисельный. В старинных особняках этих улиц и переулков жили поэты, писатели, композиторы.

В Москве много мест, связанных с историей и культурой. В Большом театре ставятся знаменитые оперы и балеты, в Третьяковской галерее можно увидеть картины известных русских художников, в Государственном музее А. С. Пушкина ознакомится с рукописями, письмами, собраниями книг поэта.

В Москве есть человек, который читает всегда: в дождь и снег, днём и вечером, зимой и летом. Не отрываясь он смотрит в свою каменную книгу – первую книгу, напечатанную в Москве более четырёх веков назад. Это первопечатник Иван Фёдоров. Каменное изваяние первопечатника – символ москвича. Москвичи, путешествуя по своему многомиллионному городу, много времени проводят в метро, автобусах, троллейбусах, и их часто сопровождает книга.

Название «Москва» разлетелось по всему свету. Есть улица Москва в Париже, есть деревня Москва в Шотландии, есть город Москва в Америке, а в небе - астероид с таким же названием...

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ВОЛШЕБНИКИ...

Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отразились уклад жизни народа, его привычки, национальные особенности. В России множество мест, где люди с давних времён занимались каким – нибудь кустарным ремеслом.

Хохлома – большое торговое село на Средней Волге. Долгое время оно было центром изготовления деревянной посуды, поэтому художественная роспись стала называться хохломской, а то и просто - хохлома, хотя чудесную золотую, «пламенную» посуду изготавливали и в окрестных деревеньках, а в Хохлому привозили на продажу. В дни ярмарок на торговой площади рядами возвышались горы всевозможной посуды: и ложки, и ковши, и тарелки, и миски от маленьких для ребёнка до огромных, метра полтора в диаметре... И всё это горело золотом, пламенело красной киноварью.

Деревянную посуду на Руси делали во всех селениях. Дело привычное и нехитрое. Подбирали в лесу подходящее дерево (липу, клён, осину), распиливали на части, сушили так, чтобы не было трещин. Из заготовки вырезали нужное изделие, покрывали особой глиной, затем олифой и, просушив, начинали расписывать и наносить лак. Затем изделие ставили в печь для закалки при высокой температуре, чтобы лак лучше пристал к стенкам посуды. Так делали всюду. Но вот такой посуды, чтобы золотом сияла, чтобы по красному или чёрному фону разбегались в затейливом переплетении нити трав с веточками, листиками, цветами, ягодами, будто золотом писанные, кроме хохломских мастеров не делал никто.

Рассказывают, что как-то раз один мастер обратил внимание, что рядом с расписной ложкой плохо смотрится на столе оловянная миска. Решил он её расписать, покрыть лаком и в печи закалить. Сказано – сделано! А когда вынул из печи, - глазам не поверил: миска золотом сияла! Мастер понял, что металлический блеск олова сквозь пожелтевший лак создаёт иллюзию золота. Растёр кусок олова в порошок, покрыл деревянную ложку порошком – и в печь. Получилось! Так и славится Хохлома «деревянным золотом».

Глиняная лепная игрушка – ещё одно изделие русского народного художественного промысла – родом из Дымкова (ныне это территория города Вятки). История промысла уходит корнями в глубокую древность. Когда-то этим глиняным фигуркам приписывались магические свойства, они были связаны с календарными праздниками крестьян. Позднее они утратили своё магическое значение и в 19 веке превратились в детские игрушки, которые продавались во время весенней ярмарки. Сейчас это просто популярный сувенир.

Наиболее популярными являются изображения домашних или фантастических животных, птиц. Небольшие (от 3 до 10 см) фигурки лепят из местной глины, сушат и прокаливают в печи, белят мелом, а затем раскрашивают.

Палех – село во Владимирской области - славится своими деревянными минатюрками. Издавна здесь изготавливали изящные ларцы, пудреницы, шкатулки, письменные приборы, целые панно. Они сплошь покрыты чудесной росписью. Ими хочется не пользоваться, а рассматривать, любоваться. Кто хоть раз видел знаменитую палехскую шкатулку, уже никогда её не забудет. Всю жизнь просияет она в глазах живой сказкой из детства, заморозит фантастическими дворцами, стремительно летящими конями – белыми, красными, золотыми. Каждая вещь, изготовленная народными мастерами, передаёт их искусную выдумку, щедрую фантазию, мастерство и любовь к своему делу.

СТАРЫЙ ПОВАР

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пёс. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всё убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть. Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедовать умирающего. Тебе никто не откажет.

Мария накинула платок и вышла на пустынную улицу. Она долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идёт и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним, вскрикнула, схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ, и, оказалось, что одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблёскивал на его чёрном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был ещё очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — её звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить её сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я её научил не трогать ни пылинки с чужого стола.

— Так вот, сударь, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви. А ещё чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбילה меня с толку.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошёл к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад.



— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Я вижу всё это.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел всё так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. Имя!

— Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мёртв. Заря разгоралась за окнами, и в её свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

ВЕТЕР СКОРОСТИ

Из путевого дневника

Под Москвой леса были насквозь просвечены золотом. Особенно много этого лиственного шумного золота скопилось в оврагах, куда не проникал ветер. А на холмах ветер начисто срывал сухую листву, кружил ее и уносил вдаль. И там, в этой дали, в холодном блеске октябрьского солнца листья временами летели по ветру так густо, что воздух казался от них желтоватым. В такой день начался наш путь из Москвы на запад.

Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра! А здесь ему было где разгуляться – на автостраде Москва – Минск, серой бетонной ленте, туго натянутой от края до края земли. Дорога эта проходит в стороне от городов и деревень. Города возникают и проносятся по ее сторонам, как виденья.

Днепр под Смоленском блеснул узкой извилиной. Берега его дымились паром. К вечеру показался Смоленск – город, раскинутый на кручах над Днепром. Как за далью открывается новая даль, так смоленская земля непрерывно дарит нам незаурядные русские характеры – от Пржевальского и Глинки до Твардовского и от писателя и охотника Соколова-Микитова до безусловно существующего Василия Теркина – тоже, судя по всем ухваткам, уроженца Смоленщины.

Дорога на Витебск резко сворачивает около Орши на север и уходит в песчаные холмы и болота. Шоссе проложено по гатям, залитым асфальтом. От тяжелого хода машин шоссе чуть прогибается и покачивается, как на тугих рессорах.

Исчезли большие смоленские села. Их сменили короткие белорусские деревни. Мальчишки уже не швыряли под колеса машины пыльные кепки, как это было на буйной Смоленщине. И косматые псы уже не мчались, сатанея от хрипа, вслед за проклятой машиной.

Давно, еще в детстве, мне почему-то очень хотелось попасть в Витебск. Я знал, что в этом городе останавливался Наполеон и что в маленьком местечке под Витебском жил художник Шагал. Во время моей юности этот художник прогремел по всей Европе своими картинами. Об этом художнике много говорили и спорили взрослые. Мне нравилась его картина «Парикмахерская в местечке». На картине были изображены кривая вывеска с пышно намыленным жгучим брюнетом во фраке, чахлый фикус и пятнистое, как ягуар, трюмо, похожее на окно в потусторонний мир, – так в нем все было искажено плесенью, разъевшей зеркальную амальгаму.

Так случилось, что за всю свою жизнь я не встретил ни одного человека, который был бы родом из Витебска. Поэтому некая дымка таинственности окутывала в моих глазах этот город. Редко бывает, что наше представление о чем-нибудь совпадает с действительностью. Но с Витебском случилось именно так.

Мы приехали в Витебск в сумерки. Закат догорал за Двиной. В позднем его огне холмистый город показался очень живописным. В памяти остались овраги среди города, каменные мосты над ними, старинные здания бывших католических или униатских семинарий, колоннады новых домов и ослепительные огни. Нигде я не видел таких ярких и напряженных электрических огней, как в Витебске. Но особенно был хорош Витебск вечерним оживлением своих узких и уютных улиц. В городе соединились черты запада и юга.

К северу от Витебска начинается обширный край лесов и озер. Я не подозревал, что в средней полосе есть места такой девственной красоты и такого живописного разнообразия. Бесчисленные и синие до черноты озера, каменные «гривы», высокие холмы, плавно поднимающиеся к небу шатровые вершины елей, валуны на полянах, пенистые холодные реки, их шум и плеск, резкий воздух с запахом клюквы и хвои, стеклянное треньканье и пересуды синиц, маленькие деревни-погосты с милыми именами – «Соловьи», «Звоны», «Бесенята», сиянье протяжной зари над болотами и звезды в блекнущем и как бы навсегда замолкшем небе – все это казалось нам необыкновенным, будто мы заблудились в старинной сказке. До Пушкинских гор и Михайловского отсюда было уже недалеко.

В селе Пустошка мы остановились на бугре над серым озером, уходившим извилистой полосой в туман. Надо было заправиться бензином. Разговорились с двумя женщинами, спокойными, сероглазыми, чернобровыми. Должно быть, это были сестры. Они удивились, что машина пришла из Москвы («Ну и даль-то кака-ая!»), и пожалели нас («Ведь это сколько же приходится ехать, мучиться в машине!»).

Над Опочкой дул сумрачный, порывистый ветер. Низкие тучи проносились, клубясь, над черепичными крышами. В забрызганные известкой окна гостиницы били капли дождя.

В темной прихожей гостиницы сидел на деревянном диване худой низенький старик в мятой шляпе. Он курил самодельные папиросы и читал книгу. Под потолком горела электрическая лампочка, тоже забрызганная известкой. В гостинице только что окончили ремонт. Пахло мелом и вымытыми полами. Трещали, разгораясь, печи. Хозяйка гостиницы со звучной фамилией Шаляпина рассказывала мне историю своей фамилии. У ее мужа, рядового сельского работника, был мощный бас. За это его прозвали Шаляпиным. Это прозвище так прикинулось к нему, что при выдаче паспорта милиционер ошибся и вписал в паспорт вместо фамилии прозвище, а муж хозяйки гостиницы промолчал, – фамилия Шаляпин нравилась ему больше, чем его настоящая.

Старик в мятой шляпе оторвался от книги и сказал:

– Я слышал Шаляпина. Неоднократно. Я окончил Московскую консерваторию. По классу композиции.

Старик снял шляпу и неожиданно запел дребезжащим, но приятным баритоном, явно подражая интонациям Шаляпина, шубертовского «Двойника».

Хозяйка гостиницы нахмурилась, но, посмотрев на меня, снисходительно усмехнулась, – ничего, мол, не поделаешь с этим чудаком-композитором.

Ночью над Опочкой буйствовал ветер. Дуло в окно, скрипели от сквозняков двери. Плотная тьма лежала над землей. Ее не могли отодвинуть за город даже яркие электрические фонари.

Я проснулся, прислушался к шуму непогоды, представил себе эту ночь над окрестными болотами, ощутил огромный неуют этой осени, тьмы и подумал о композиторе: как тяжело, должно быть, одинокому человеку в такую ночь.

Утром мы пошли на базар и впервые рассмотрели как следует просторный и тихий городок Опочку. Два огромных здания времен Александра Первого стояли по сторонам мощеной площади. На крепостном валу ронял последние листья городской сад. Внизу шумела, пенясь и вытягивая в струны подводную траву, река Великая. Через Великую был перекинут цепной мост. За мостом в лицо подуло сладковатым запахом антоновки и сосновой щепы. Базарные рундуки были завалены антоновкой. Яблоки были как на подбор – крупные, покрытые на выпуклостях желтизной, похожей на старый воск. Рядом с яблоками лежали горы свежего и чистого товара, который зовут «щепным», – деревянных некрашенных ложек, деревянных лопат, бадеек, грабель и плетенных из лыка лукошек. От этого товара пахло корой, подмерзшим листом.

По пути в Псков начали попадаться около шоссе желтые приземистые дома – почтовые станции пушкинских времен. Чем ближе мы подъезжали к Пушкинским Горам, тем больше волновались, будто нам предстояло встретиться с живым поэтом. Впереди появились две легкие колонны. Дорога проходила между ними. На колоннах были укреплены деревянные лиры. Отсюда, от этих колонн, начинался Пушкинский заповедник.

На холмистой гряде показался Святогорский монастырь. Под его стенами похоронен Пушкин. Мы вглядывались в монастырские здания, серевшие вдаль. Неужели через несколько минут мы будем стоять около могилы поэта? Луч солнца прорвался сквозь тучи и озарил землю. И она вдруг запестрела скрытыми до тех пор красками последних осенних дней.

Но нам так и не удалось попасть на могилу Пушкина. Сонная служащая в гостинице Пушкинского заповедника сказала нам, что «могила закрыта на ремонт». Услышав эти казенные слова: «закрыта на ремонт», сказанные о могиле Пушкина, мы возмутились и хотели было наговорить сонной девице много горьких слов, но поняли, что это бесполезно.

Огорченные, мы поехали в Михайловское, и оно вознаградило нас за неудачу в Пушкинских Горах. Михайловский парк отряхал последние листья, но на клумбах перед домом-музеем доцветали астры. И так же трогателен, как всегда, был домик няни.. Так же трогательны были его низенькие потолки и деревянные колонки на крылечке.

Неясный туман лежал, отсвечивая легким серебром, между вековыми елями главного въезда, над черными прудами, над липами в аллее Анны Керн и над свинцовой водой двух озер – Маленца и Петровского. В тумане едва угадывался песчаный холм, а за ним – Тригорское.

В парк пришли цыгане. Их табор мы видели около Пушкинских Гор. Цыгане подошли к домику няни, о чем-то тихо поговорили между собой, потом ударили в ладоши, и цыганки вдруг начали плясать. Разноцветные шали и юбки разлетелись, будто ветер закружил охапки красных, желтых, лиловых, белых и синих цветов. Эта безмолвная пляска цыганок в совершенно безлюдном парке около дома Пушкина, да еще поздней осенью, когда кочевая жизнь должна давно окончиться, была неожиданна и удивительна. Казалось, что цыганки плясали перед самым Пушкиным и только для него одного.

Наутро, когда мы выехали из Пскова в Лугу, в небе начали накапливаться тучи. Меня, конечно, могут упрекнуть в пристрастии к описанию гроз и других небесных явлений. Но эту грозу под Псковом я, очевидно, буду помнить долго и потому не могу промолчать о ней. Это была стремительная гроза в самый разгар золотой осени, в ту пору года, когда гроз почти не бывает. Взрывы солнечного огня, его косые лучи пронеслись и тотчас гасли в угрюмой дали. Там узкими домоткаными холстами уже лились на леса и пустоши короткие ливни. Каждый взмах солнца выхватывал из сумрака то одну, то другую отлитую из чистейшей меди березу. Березы вспыхивали, пламенели, дрожали, как исполинские факелы, зажженные по сторонам дороги, и мгновенно гасли за серой стеной дождя.

– Смотрите! Вот здорово! – вскрикивал шофер, и останавливал машину. А это что-нибудь да значит, когда шофер забывает о сцеплении и стартере и протирает смотровое стекло, чтобы не пропустить ни одной перемены в зрелище октябрьской грозы.

За Сиверской в мокром тумане, напозвавшем с низин, в радужном сиянии фонарей пронеслась Гатчина– дворец, ограды, пруды, – и с Пулковских высот открылись, наконец, от края до края ненастного горизонта несметные огни Ленинграда.

Сколько раз ни приезжаешь в Ленинград, всегда волнуешься, как перед свиданием с любимым человеком, которого не видел много лет. Но каждый раз этот величественный город встречает тебя, как друга. Даже кажется, что он сетует, что тебя так долго не было. Он как бы спрашивает: где же ты был в белые ночи, когда отражения золоченых шпилей струились в невской воде? Где ты был в хрустящем сентябре, когда воздух пригородных садов заполнил до краев весь город и остановился у берега Финского залива, как бы боясь двинуться дальше в северную даль? Где ты был в зимние дни, когда торжественные здания, колоннады и арки покрывал иней и казалось, что неведомый мастер посеребрил их за одну только ночь? Почему так долго ждали тебя в гулких залах Русского музея и Эрмитажа великие художники мира?

Каждый раз с жестоким сожалением о потерянном времени выходишь на набережные и проспекты, но через несколько минут наступает успокоение. Гармоническая стройность Ленинграда снимает все заботы, все тревоги. Начинаешь не умом, а сердцем понимать, как прав был поэт, когда сказал, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво». Начинаешь понимать, что прекрасное несовместимо с суетой. И суета уходит, оставляя сердце свободным для восприятия чистых впечатлений.

Эрмитаж берет в плен крепко, на всю жизнь. Пушкин писал о «священном сумраке» царскосельских садов. Это определение– «священный сумрак» – можно с полным правом отнести и к залам Эрмитажа. Их торжественный полусвет заполнен великолепием красок. Кажется, не хватит жизни, чтобы проникнуться этим живописным богатством, изучить россыпи мастерства.

Блестящая галерея героев 12-го года, лоджии Рафаэля, осенние краски Тициана, средневековые харчевни фламандцев с их гулом волюнок и треском колбасы на раскаленных жаровнях, вырванные из мрака лица на полотнах Рембрандта, мерцающий, как старое стекло,

воздух Венеции у Каналетто, зловещая сила Эль-Греко, дым, изгибы развеваемых одежд, румяные итальянские зори, мрак кудрявых лесов, девичья печаль мадонн Леонардо! Нужны сотни страниц, чтобы перечислить все, что так мгновенно входит в память и потом вновь и вновь настойчиво возвращает к себе.

У каждого есть свои любимые пути по Ленинграду. Из Эрмитажа мы пошли в Летний сад. Зеленоватый туман стекал каплями с мокрых ветвей. Бронзовый баснописец Крылов добродушно дремал, окруженный этим туманом. Вдалеке поблескивали наново позолоченные пики знаменитой ограды. Из Летнего мы прошли в Михайловский сад. В Лебяжьей канавке виднелось дно, покрытое сгнившими ветками. Зябко покрикивая, проходили мимо машины. Через Михайловский сад мы вышли к Русскому музею. Снова знакомые картины обступили нас тесной толпой. Но каждый раз среди этих старых знакомцев появлялись находки. На этот раз я как бы впервые увидел волшебный портрет Самойловой работы Карла Брюллова. И увидел нового Куинджи – обрывистый берег Азовского моря, пышущий степным пламенем, кобальтовым морским зноем.

Ненастье кончилось. Вернулись светлые дни. Проспекты и Нева были задымлены слабым туманом. Желтые листья сыпались легким роем в Мойку. Стройный морской катер из красного дерева несся по этим листьям, оставляя за кормой темную водяную дорожку.

Потом начались окраины, крупный булыжник мостовой, дровяные склады, звон круглых пил, запах стружки, заброшенные особняки с обвалившимися гербами и прозрачными чугунными воротами. Каналы разветвлялись под черными горбатыми мостами. Гранитные берега исчезли. Кое-где посреди набережных росли могучие деревья..

Наконец мы вышли на безлюдную набережную реки Пряжки. Увядшая трава покрывала откосы. На мостках сидели молчаливые рыболовы. За Пряжкой дымил завод. Дома вдоль Пряжки были старые, низкие, и только один дом выделялся среди них. Он был в четыре этажа – обыкновенный дом со скучными балконами, выходившими в сторону взморья. На этом доме мы увидели мраморную доску с надписью, что здесь жил и умер поэт Александр Блок. Сначала показалось странным, что Блок выбрал для жизни место, столь несвойственное его поэзии. Это была заводская дымная окраина. Дом стоял далеко от шума и огней Невского. Он был вынесен, как передовой форт, в устье Невы и первый встречал удары бурь и наводнений. Странность этого блоковского жилища требовала объяснения. Оно заключалось, очевидно, в желании поэта уйти в свой дом, как в крепость, приблизить его к заливу, к рано затихающей окраине, где по ночам шумит за стеной терпеливый обветренный вяз. Можно, отложив книгу, слушать шелест его холодных листьев и скрип горячей воды в батарее отопления и думать о том, «как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах». Кто знает, может быть это желание и руководило Блоком, когда он выбирал свое жилище.

Мы выехали из Ленинграда в Нарву в яркое льдистое утро. Крутая синяя волна плескалась в невский берег. Ближе к вечеру над теснинами пенистой реки Нарвы показались громады крепости в Ивангороде, а на другом берегу – средневековый город Нарва. В Нарве началась Эстония.

«Победа» мчится. Первые впечатления так же быстры, как бег машины. Узкие и извилистые асфальтовые дороги. Одинокие дома-мызы из дикого камня, похожие на форты. Замшелая черепица. Старые вязы. Шоссе из огромных цементных плит шло через заболоченные леса. Цемент гулко пел под баллонами машины. Леса срезало сразу. Вдали над равниной появился высокий Таллинский маяк.

Высокая площадь, а за ней – нагромождение башен, шпилей, крутых аспидных крыш, дым и мгlistая даль залива. Залив вплотную сливается с небом. Черные корабли на рейде как будто висят в воздухе. Над ними и под ними залегли синеватые облака. Глаз не сразу может привыкнуть к этому зрелищу, и трудно еще догадаться, где настоящие облака, а где их отражения в воде.

Да, Таллин, конечно, принадлежит больше морю, нежели эстонской суше с ее скромными травами и размытым белесоватым небом. Над портом ровными колоннами подымается дым из парходных труб. В морской дали, приглядевшись, можно различить очертания островов. Они похожи на расплывшиеся по воде темные пятна.

В улицах около порта пахнет каменноугольным дымом и рыбой. И всюду моряки – молодые матросы с военных кораблей и медлительные русые люди в расстегнутых куртках и тельниках – эстонские рыбаки. Глаза у них цвета балтийской воды – серые, спокойные, с легкой голубизной.

Таллин – город мореплавателей. История многих открытий и морских походов началась здесь, на этих игрушечных улицах, в городе, похожем по вечерам на освещенную изнутри большую елочную игрушку.

На второй день после приезда в Таллин мы осматривали собор Святой Девы в Вышгороде. Он ушел от старости в землю почти на два метра. Внутри собор казался вылепленным из сумрака. Только рыцарские щиты блестели на стенах золотом, фольгой и разноцветной эмалью. Под плитами пола были похоронены члены магистрата, рыцари, начальники ремесленных цехов и председатели гильдий. О том, кто лежит под ногами, можно было судить по барельефам на плитах пола. Над могилами рыцарей были плоские их изображения в забралах и латах. Над могилой начальника цеха башмачников был высечен огромный ботфорт, а над могилой начальника цеха мясников – могучий бык.

Седой смотритель, эстонец, бывший учитель истории, подвел нас к двум мраморным надгробьям. По сторонам их склонялись выцветшие от тропического солнца, потрепанные бурями андреевские флаги. Это были могилы адмиралов Беллинсгаузена и Врангеля – уроженцев Эстонии. Беллинсгаузен открыл вместе с Лазаревым на другом конце земли ледяной материк Антарктиды. Дневник Беллинсгаузена об этом плавании – почти классическое произведение нашей литературы. Он точен, скуп на слова. И прекрасен тем, что сквозь эту скупость неожиданно прорываются слова о мрачной красоте Антарктиды и величии русского матроса.

Тут же, под сенью таких же андреевских флагов, лежит адмирал Врангель – исследователь Арктики, провидец, догадавшийся по ряду едва заметных признаков о существовании в океане около восточных берегов Сибири большого острова. Этот остров открыли после смерти старого адмирала и назвали его именем.

Мы простились с учителем и вышли на средневековые улицы Вышгорода. Снизу доносился ровный гул города, порта, заводов, заглушённый говор людских толп. Жизнь шла своим путем. И я вспомнил слова Короленко: «На одну и ту же старинную башню каждое поколение смотрит иными глазами».

Где-то за Пярну мы остановились отдохнуть в сосновом лесу. За грядой дюн вопологолосо шумело море. Кричали гагары. И лес вокруг был северный – мшистый, весь в спелой бруснике и старых грибах. Белый мох на сосновой коре пропитался водой, как губка, – должно быть, с моря по утрам наносило туман. И воздух был северный – серый и холодноватый.

Под Ригой в полночь туман сошел, и сотни огней, перебегая, начали путать перед нами карту незнакомого города. Мы въехали в широкую улицу и остановились под тенью деревьев. В ушах еще долго гудел дорожный ветер. В Риге гостиницы были переполнены. Пришлось остановиться на взморье, в закрытом на зиму доме отдыха в Дубултах. Нам отвели один из флигелей в глубине парка, прибрали его и протопили.

Есть своя прелесть в опустевших дачных поселках. Недаром покинутые дачи были даже предметом литературы. Вспомните хотя бы осенние фонтаны под Одессой в «Гранатовом браслете» Куприна. Три обстоятельства ощущались сейчас в Дубултах, почти как счастье: покой, сосредоточенность и возможность в любую минуту выйти в парк, где все шуршит и вместе с тем все дремлет в легчайшей воздушной мгле. Мгла эта наплывает с Рижского залива. До него – несколько шагов. Он пустынен, тих. На песчаном дне видна рябь, похожая на рыбью чешую. Низкие берега исчезают в тумане. Ветра нет, но все же изредка откуда-то потянет солоноватым запахом открытого моря. Пляж отдыхает. Крошечные сосны смело выглядывают из песчаных нор. Там они прятались летом, боясь, что их затопчат. Почему-то эти заброшенные дачи вызывают воспоминания о юношеской любви, молчаливой разлуке. В воспоминаниях этих нет горечи. Они приходят, как улыбка. И вместе с ней уходят.

Бывают города-труженики, города-коммерсанты, города-музеи, города-венценосцы. И бывают, наконец, города-авантюристы. Все эти определения относятся к городам Запада, а у нас – к далекому прошлому. Москва была городом-купчихой, Петербург – венценосцем, Одесса – негоциантом, Новгород – музеем, а Митава, теперешняя Елгава, была городом-авантюристом. Трудно сказать, в силу каких причин этот городок – бывшая столица Лифляндии – стал надежным приютом для авантюристов всей Европы, для французской знати, спасавшейся от революции, и для низложенных королей. В Митаве жил Калиостро и блистала красавица авантюристка герцогиня Кингстон с выжженным на плече клеймом английского каторжника. В Митаве скрывались последние Бурбоны и проводил время в полной праздности и роскоши польский король без королевства Станислав Понятовский. Сейчас от этого прошлого остался только полуразрушенный дворец. Он восстанавливается. В нем будет размещен сельскохозяйственный институт.

Мы не заметили пограничную арку между Латвией и Литвой. А между тем все вокруг изменилось. Пахло чем-то родным и чуть-чуть стародавним, и мы догадались, что мы едем уже по Литве. Только черные распятия на перекрестках, маленькие узорчатые часовни-каплицы, похожие на голубятни, да кровли сельских костелов отличали Литву от наших мест.

Мы с нетерпением ждали первого попутного города. Всегда ведь ждешь этого первого города в каждой новой стране. И он, наконец, появился. Назывался этот город Ионишкис. Он совершенно пленил нас своим уютом и простодушием. Тесные торговые ряды, постоялый двор, мостовые, усыпанные сеном, илистая речушка, мальчишки с неизменными удочками, седые продавцы-патриархи в подтяжках на пороге темных магазинов-«склепов» и высокий костел.

Совершенно другим городом оказался Шяуляй. Новенький, чистый, с хорошими небольшими зданиями, он стоял на горе, как крепость.

Пасмурное небо расчистилось. Легкая синева опустилась на землю, и в этой синеве необыкновенно жарко заблестало солнце. После Шяуляя начались такие места, что мы только ахали от изумления.

Каждый раз, когда машина взлетала на высокий перевал, перед нами открывалась такая драгоценная лесная даль, такая праздничная, волшебная страна, такое свежее дыхание врывалось в открытые окна машины, что у нас захватывало сердце. За всю дорогу мы не видели ничего подобного. Мы завидовали всем, кто жил в этих местах: путевому сторожу, каждой девочке, бежавшей с кошелкой по обочине дороги, каждой птице, пролетавшей сквозь заросли. Она как будто купалась в золоченой воде. Листья, как крупные брызги, разлетались в стороны, но богатый наряд на дереве от этого не редел.

К ночи засияли огни Каунаса. Начался спуск к Неману среди таких поднебесных ив, что ночь под ними сразу стала во много раз плотнее. Даже сильные автомобильные фары не могли отогнать эту ночную темноту за край шоссе.

Есть города, где кажется, что все жители хорошо знают друг друга. Такое же впечатление остается от Каунаса. Этот город патриархальный в хорошем смысле слова. В вечер приезда мы пошли поужинать в ресторан. Официанты были добродушны и деликатны. Оркестранты играли, но не надо было кричать, чтобы расслышать друг друга. За соседним столиком юноши, похожие на студентов, попросив разрешения у соседей, тихо напевали литовские песни.

У Каунаса – старые художественные традиции. В Каунасе жили и работали художники Добужинский и Чюрлёнис.

Мне рассказывали, что в Каунасе была лучшая в мире коллекция бабочек всех стран земного шара. Она не уступала в ценности и красоте хорошей картинной галерее. Ее собрал ученый, уроженец Каунаса (фамилию его я, к сожалению, забыл). Он объездил весь мир, особенно долго прожил на островах Тихого океана и вернулся под старость в свой родной город. Куда девалась эта коллекция – никто не знает.

В одном из магазинов Каунаса я видел картину неизвестного местного художника – портрет девочки. Картина поражала чистотой и спокойствием красок, бледным и очень серьезным лицом маленькой девочки. Но фон у картины был странный. Он был составлен из

больших кругов, окрашенных в бледные цвета. И я подумал: не ученик ли Чюрлёниса написал эту картину?

Чюрлёнис был замечательным живописцем. Многие его картины, правда, фантастичны, как сны. Но если отбросить их, то у Чюрлёниса останутся удивительные вещи. Пожалуй, никто из художников не передавал с таким мастерством ночь и звездное небо, как это сделал Чюрлёнис в серии своих картин «Знаки Зодиака». Я запомнил еще одну картину Чюрлёниса – «Сказка». Волшебник держит в ладонях хрустальный граненый шар. Вокруг – ночь. Шар излучает напряженный магический свет. Он прозрачен. Внутри шара виден старинный город, переливающийся, как алмаз, всеми красками радуги.

Днем мы выехали из Каунаса в Вильнюс по дороге над рекой Нерис. Дорога извилиста и разнообразна. Холмы, кряжистые леса, крошечные не то городки, не то села. Трокские озера... Все это сменяется быстро и неожиданно.

На этом небольшом клочке земли как будто нарочно собраны все приметы страны. И опять хочется остановиться и пожить здесь, чтобы проникнуть в самую гущу литовской народной жизни, – судя по первому впечатлению, жизни очень простой, трудовой и честной.

С Замковой горы, с башни Гедиминаса виден весь Вильнюс, окруженный по возвышенности темными лесами. Город лежит как бы в чаше, наполненной туманным воздухом и ворохами лимонных листьев. То, что сверху кажется нам ворохами листьев там, внизу, – большие сады. Из этих садов то тут, то там поднимаются башни церквей и кровли домов.

Много есть хороших городов, но нет такого города, как Вильнюс, где бы прекрасная архитектура была так тесно собрана на небольшом пространстве и вплотную окружена сельским простодушным пейзажем.

Мы долго сидели на парапете башни Гедиминаса и смотрели на этот город, напитанный своей историей и культурой до мельчайших пор, до каждой подворотни.

В одну из таких маленьких подворотен, кажется на Бернардинской улице, мы вошли с тем чувством, какое называют, за отсутствием более точного слова, благоговением. Над этой подворотней, на старенькой, потрескавшейся стене была прибита доска с короткой надписью: «Здесь жил Мицкевич». Подворотня вела в крошечный двор, замкнутый со всех сторон стенами невысокого дома с деревянной обветшалой галереей над первым этажом. Дикий виноград оплетал галерею. Между булыжниками во дворе росла трава. Над воротами висел старый герб Вильнюса: святой Христофор переносит через ручей младенца. Пройдя подворотню, мы сразу переступили больше чем на столетие назад. Все здесь оставалось таким, каким было при Мицкевиче.

Я не знаю, в чем очарование мест, связанных с памятью замечательных людей. Но оно бесспорно. «Отчизна милая, Литва, ты, как здоровье: тот дорожит тобой, как собственной кровью, кто потерял тебя!» Да, вот она вокруг, любимая его Литва, погруженная в трепещущий от легких ветров воздух, наполненная щебетом птиц, спокойная и сильная, как рука пахаря. У Мицкевича был большой импровизационный дар. Возможно, что этот род таланта является самым свободным и богатым. Он возникает от большой внутренней наполненности, от щедрости, оттого, что человек легко находит поэзию даже в самых прозаических явлениях жизни.

Мне кажется, что прогулки по Вильнюсу с некоторым правом можно назвать прогулками по «маленькому Риму».

В Вильнюсе живет милейший человек, архитектор Ян Александрович Кумпис, влюбленный в город, в Литву, ее архитектуру и природу. Нам повезло: Кумпис нам показывал Вильнюс. В его ведении как архитектора находится не только все новое строительство в республике, но и охрана старинных зданий. Денег на охрану и реставрацию этих зданий не хватает. Кумпис нашел выход. Он прибил буквально ко всем зданиям Вильнюса, – а им несть числа, – охранные доски. Это хотя и не всегда, но все же действует. Люди начинают с уважением относиться к тем домам, где они живут, и сами берут на себя заботу о них.

Мы смотрели в Вильнюсе башню Гедиминаса, костелы, усыпальницу Сапеги, университет, Острую Брам, старинные кварталы и сады.



Невозможно описать все это. Но самым поразительным был костел святой Анны. Я видел его еще в детстве, восьмилетним мальчиком, и запомнил еще с тех пор. Но сейчас он показался мне лучшим, чем по воспоминаниям детства. Это чистейший образец готического стиля, когда готика была еще очень простой и ясной. Большой костел кажется легким, не имеющим веса. Недаром Наполеон говорил, что он осторожно перенес бы его на ладонях в Париж.

Есть еще один костел святого Петра и Павла со множеством мраморных статуй. Я не помню их числа. Кажется, их около полутора тысяч. До сих пор не удалось выяснить имена скульпторов, создавших это причудливое собрание скульптур. Должно быть, это были итальянцы. Весь костел залит слабым и теплым отсветом мрамора.

...Мы попрощались с Вильнюсом, с тем чтобы обязательно вернуться в этот милый город.

В утро отъезда продолжали падать с деревьев розовые листья. Снова литовские дали раскинулись перед нами, затянутые слабым дымком.

Леса, холмы, местечко Сморгонь, где Наполеон бежал от своей разбитой армии, потом Белоруссия, Молодечно, новый нарядный Минск, знакомая Смоленщина и родная московская земля, звонкая от первого мороза.

Круг сомкнулся. Усталая горячая машина остановилась у подъезда московского дома, покрытая пылью четырех тысяч километров пути. Наша поездка была больше похожа на полет. Она прошла стремительно. Но она наполнила нас ощущением разнообразия жизни, новыми знаниями и чувством неиссякаемой красоты земли.

1954

(По К. Паустовскому)



Vertimų projektas „TAVO ŽVILGSNIS 2019“
(Vertimo lapas)

1. Švietimo įstaigos pavadinimas	
2. Moksleivio (-ės) vardas, pavardė (spausdintinėmis raidėmis)	
3. Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė	
4. Verčiamo teksto pavadinimas (lietuvių kalba)	
5. Užsienio kalba, iš kurios verčiama	
6. Tai Jūsų pirmoji ar antroji užsienio kalba?	
7. Moksleivio klasė/kursas	
8. Moksleivio amžius	
9. Užsienio kalbos mokymosi metai	